ИНСУЛЬТ

Если Вы читаете этот текст, значит, Вас тоже нет в живых. Впрочем, по порядку.   
Я думал так будет всегда или почти всегда, еще очень-очень долго: я буду постепенно стареть, мои возможности будут медленно, очень медленно убывать, но я буду компенсировать это более глубоким пониманием сути вещей и получением большей единицы радости от убывающей величины возможного действия. Я даже назвал это законом положительной старости или положительного нарастания и декомпенсации старости. Я смотрел на своих сыновей, на их детей – моих внуков, находил в них свои черты, радовался этому, радовался их успехам. Но еще больше меня радовали свои успехи: несмотря на некоторые потери в физических возможностях (в общем-то, небольшие)  я все глубже видел вещи и мог лучше и лучше делать доступную мне работу. Я становился точнее, аккуратнее, умнее в своих действиях и это позволяло мне меньше (или немного) напрягаться об уходящих годах.  Факт  того, что мне – семьдесят не воспринимался мною в прямой связи со скорой смертью.   Она  казалось мне  теоретически  неизбежным, но все же не очень относящимся ко мне событием. Конечно, я думал об этом, в своих мемуарах я сравнивал  предстоящую  смерть  с поездкой в ночном поезде, написал на бумаге, что «скоро и мне пора». Но на самом деле умирать я не собирался и к смерти не готовился. Даже посещение в канун семидесятилетия родных мест под Москвой и Рязанью не было прощанием с ними, я просто хотел там побывать, никак не заостряясь на том, что вижу эти места и могилы родственников в последний раз. Тоже самое и с  написанием завещания, я сделал это поддавшись давлению со стороны Шуры.   
О моем здоровье, или точнее  о  моем к нему отношении, лучше всего говорил факт отсутствия у меня в семьдесят лет  медицинской карточки. Очки с плюсовыми диоптриями  я подбирал прямо в оптике, зубы лечил и вставлял по самой острой необходимости, на чем мои контакты с медициной заканчивались. Бывало, и нередко, что-то болело или ныло. Не драматизируя, я старался либо проигнорировать это, либо занимался самолечением,   руководствуясь  доступной  популярной  литературой. Обращаться к врачам я избегал,  оправдывая себя врачебной поговоркой «нет здоровых людей – есть недообследованные». Тратить на медицину время имея уверенность что, во-первых, ничего страшного со мной произойти не может, и во-вторых, что медицина  ориентированна на процесс, а не на результат казалось мне непозволительной роскошью при той насыщенности жизни которую я имел.   
Все изменилось очень резко. Уже привычный шум в голове  ( иногда он  досадно снижал  работоспособность, но я адаптировался к нему )  взорвался  ударом. Белый шум стал красным. В голове яркая вспышка, всплеск  тошноты, я падаю на мокрый весенний лед, меня рвет  и  я перестаю контролировать себя. Так началась  история моей беспомощности.  Я очнулся на больничной койке в многоместной палате. Передо мной висела стеклянная бутылочка, жидкость из которой по прозрачной  трубке, через иглу вливалась в меня. Перед глазами еще стоял туман, тело наполнено тяжестью, живот и горло тошнотой. Несколько дней я не вставал с кровати, ходил в судно и под себя, и не мог выговорить самых простых слов. Впервые в моей сознательной жизни я ничего ни читал и не писал. Я был занят только тем, что принимал лечение. Через стеклянно-трубчатый агрегат  называемый капельницей в  меня  беспрестанно что-то вливали, ставили уколы, на каталке возили к каким-то сложным медицинским аппаратам. То, что я вскоре встал и сам пошел в туалет удивило врачей, но мне казалось должным, я даже подумать не мог,  что урон здоровью от того первого  инсульта будет невосполнимым.   
Я активно борюсь за восстановление: учусь пользоваться конечностями, самостоятельно есть, писать, общаться с компьютером, и самое трудное слушать и говорить.  Первое время мне казалось я смогу восстановиться и вернуться к той жизни,  которую привык считать нормальной. И первые успехи обнадеживали. Но через пару месяцев я понял: это так называемый эффект низкой базы. Вновь научиться ходить  большое дело,  но невозможность слаженно действовать обеими руками  уже инвалидность. И преодолеть   это не получалось, хоть тресни. Чужую речь, если она не слишком быстрая,  я понимаю с  отдельными пробелами, некоторые фразы и куски фраз не полностью расшифровываются. Но это полбеды, беда в том, что я не могу говорить: мой мозг и язык плохо координируются,  мысли  с большим трудом преобразуются в слова, при том я путаю падежи, спряжения, часто вместо требуемых к произношению слов говорю другие. Озвучиваю порой совсем не то, что имел в виду: например,   одобряю  внучку словами: «ах собака такая». Из контекста ситуации  всем было ясно:  я именно хвалю ее,  «собака такая» произносится радостным тоном, с улыбкой. Присутствующие, в том числе и сама Валя по-доброму смеются.   Скоро становится  ясно: общаться с посторонними на отвлеченные темы  невозможно совсем, только с близкими, точнее с теми из них  у кого хватает  терпения, и  только на бытовые и подобные  тому темы.  Долго и терпеливо учился писать.  Многократно старательно выводил плохо  слушающимися  пальцами строчки букв и  слов. Поймал себя на том, что с трудом разбираю свой прежний почерк, утешил:  не я один – читать его и другой мало кто может. Новый почерк крупнее, четче. Но пишу крайне медленно, это стало для меня тяжелой работой. На письмо к школьному другу ушло несколько часов. Иногда и того хуже: получал деньги в сберкассе и что-то заклинило, ну не могу расписаться и все. Волнуюсь, лицо краснеет, дергается, руки трясутся, хорошо девушка-кассир после комментария Олега «он недавно после инсульта» проявила такт, улыбнулась: «не спешите – все получится»  - и я вывел некую закорючку.  До инсульта я полноценно работал, почти ежедневно посещал свою лабораторию ставшую институтом. Теперь об этом и не мечтаю. Но пробую писать с помощью компьютера. С клавиатурой управляюсь лучше,  чем с ручкой, но пальцы правой руки и здесь подводят, получается медленно. Работать  с текстом на экране кое-как выходит, то находить нужный текст в памяти машины стало проблемой. Иногда забываю и сохранить напечатанное.   
Еще в больнице я слышал от врачей, что сильный инсульт портит человеку характер. Через несколько месяцев  я получил опытное тому подтверждение и понял, почему это так. Теряя надежды на полное восстановление,   я психовал, злился, становился раздражительным,  и тем самым  еще больше  добивал возможности своего мозга.  И вскоре восстановление сменилось медленным, постепенным регрессом.   
Вы читаете это и вас гложет червь сомнения: автор жив, иначе как бы текст попал к нам. Поясняю: я не переправлял текст, это вы переправились. Вы умерли, именно потому можете читать это.   
Хочешь поговорить  – а сказать ничего толком не можешь. И это не самое худшее. Это сначала, первое время хочешь говорить. Но если не получается, а оно так, постепенно устаешь ощущать себя ущербным, и может быть смешным для посторонних со своим даже не детским мычанием. И ты перестаешь говорить. А еще через год-два привыкаешь жить в закрытой бутылке и потребность общаться начинает уходить. Одновременно ты все меньше понимаешь, что  говорят тебе, хотя исходно понимал почти все. Это вновь раздражает и злит, избегая этого, ты стараешься меньше не то чтобы общаться, а скорее даже меньше оказываться в ситуации требующей общения.   
Первый год я протестовал против продажи дачи, мне казалось, еще чуть-чуть времени и я смогу делать там все сам как раньше. Близким с трудом удалось уговорить меня довольствоваться предоставленными мне несколькими сотками на огороде Олега. Весной я вполне осмысленно посадил рассаду, в мае часть ее высадил  в теплицу, в июне  остатки в открытый грунт. Но вскоре  я понял: полностью самому вести там хозяйство мне не под силу. Раз-два в неделю Олег привозил меня, несколько часов я активно работал, быстро и очень сильно уставал  и Олег увозил меня домой. В свой следующий приезд я обнаруживал недоделанную мною работу законченной.    
Где-то через год после инсульта несмотря на отсутствие какого-либо резкого  ухудшения моего состояния  Олег начал возить меня по разным врачам. Я не протестовал, ездил, времени  у меня уже было много. Протест, точнее обида на судьбу пришла позже, когда я понял смысл происходящего – меня оформляли как инвалида. Это было окончательным разрывом со старой здоровой жизнью.   
Потом было еще  два инсульта. С каждым я терял многое. Окончательно  ушли  компьютерные навыки, а с ними и  возможности научной работы. Правая рука работала все хуже и хуже, написать на бумаге я мог только короткое письмо однокласснику. Оставалось чтение – я читал, понимал читаемое, и это давало мне пищу для ума, но постепенно глаза видели все хуже.  Постепенно я сдавал одну позицию за другой,  становясь огурцом.  Пусть что-то и  удавалось отыграть, но жизненные возможности неумолимо сужались. В девятый десяток я вошел умея почти всегда вовремя самостоятельно сходить в туалет, лишь раз-два в квартал случались обидные сбои,  которых я очень стыдился; умея самостоятельно есть: иногда правда кушал  суп вилкой, но уловив что оно не получается  я брал ложку или, еще проще,  вытаскивал картошку из супа руками. Я еще мог сам выйти на улицу и сходить в магазин, хотя и не мог считать деньги и двигался со скоростью один-два километра в час. Выбираться из дома на дальние расстояния было проблемно, в автомобиле меня быстро  укачивало и я блевал, успевая правда прикрыть рот ладонью с тем чтобы поменьше пачкать машину. Заткнуть фонтан не удавалось и я заблевывал свою одежду, с которой рыготина стекала на пол и сиденье машины. Говорить с близкими я уже особо не пытался, хотя с регулярно посещавшими меня бывшими коллегами  нам порой удавалось изобразить некое подобие общения. Компьютер я давно не включал, но газеты читал, телевизор смотрел. Со стороны это выглядело вполне осмысленно, но реально я понимал далеко не все, как будто все было на плохо усвоенном мною иностранном языке. Но я знал,  какой сегодня день недели, понимал время, правильно определял,  когда будет интересная мне передача.     
Виток вниз начался накануне  моего  81 дня рождения. Шура утром  упала с кровати и долго сидела на попе, не способная встать. Я не мог ни поднять ее, ни позвонить, зовя помощь. Злой на себя за то, что не могу помочь ей, я кричал на нее. Несколько раз у меня даже получилось четкое «вставай, вставай»!  Благо, что через пару часов   Олег привез продукты для празднования моего дня рождения. Вместо праздника Шуру увезли с пневмонией в  больницу,  меня  на пару недель забрала Люба.  Я был активным, пытался даже помогать им по огороду и судя по ее похвале у меня  получалось что-то путное. Но я четко отсчитывал установленное мне время ссылки, и когда через две недели оно закончилось, я утром собрался домой.  Но Люба отказалась вести меня, сказала надо пожить  у нее  еще. Она что-то объясняла, но от расстройства я потерял остатки способности понимания. Дойти или доехать сам до дома я не мог, заставить сделать это Любу тоже, я не мог даже позвонить Олегу или Антону. Не мог и оставаться там  – я отбыл две недели, я хочу домой. От безысходности и отчаяния я заплакал. Целый день пролежал лицом к стене.

Через пару дней я все же был дома. Многое изменилось. Шура была очень ослабшая, работу по дому теперь делала соседка, а она больше лежала. Она практически  перестала есть, утверждая, что не может, поскольку ее тошнит. Но проговорилась мне:  лучше лежать голодной, чем  лежать в говне. Что она не хочет и не может больше жить и скоро умрет.  Я пытался возражать, переубедить: надо есть, надо жить, но не имел ни доводов, ни красноречия. Через две недели она тихо умерла во сне. Обнаружив утром ее мертвой, я  упал, сильно ударился боком и поймал еще один инсульт. Когда Олег вскрыл топором входную дверь я лежал на полу возле Шуры в мокрых трусах и мычал от отчаяния.  Олег дотронулся  до Шуры, понял, что она умерла. Он оттащил меня на мой диван, переодел, вызвал скорую. Та приехала быстро, зафиксировала смерть Шуры, именно это захватило все внимание врачей и осматривая  меня они не заметила ни инсульта, ни очень болезненного ушиба. Аналогично и после: квартира наполнилась людьми, собрались дети, внуки, соседи и похоронщики, и всем было не до меня, центром внимания была уже умершая, а не близкий к этому я. Лишь Юра сообразил сводить меня в туалет, по ходу чего обнаружил на боку огромную болезненную гематому,  и мою неспособность идти самостоятельно. Вновь вызванная  скорая определила перелом ребер и  настояла на поездке в больницу. В сопровождении внуков Саши и Антона я прошел рентгенобследование не подтвердившее переломы и был отпущен домой. Дома, в зале  уже стоял гроб. Шура лежала совсем белая и совсем не живая. Я плохо помню как провел остаток дня  и ночь: боль, усталость, горе и жалость слились в какое-то мутное коматозное состояние. Я лежал на своем диване, не ел не пил, не ходил в туалет. Лишь утром Юра сводил  меня в туалет, одел брюки и подвел к гробу. Я собрался чтобы никак не показать  Шуре свое состояние: пусть уйдет спокойно, она так боялась оставить меня жить лежачим и беспомощным.   
Мне не  пришлось долго сидеть возле нее, Олег устроил меня в ту самую стройгазовскую больницу с которой восемь лет назад все начиналось. К тому самому врачу. Прямо от гроба меня увозит скорая.  Врач, Анна Владимировна,  с ходу определила у меня еще один инсульт и меня начали накачивать лекарствами. Тут-то я и поплыл окончательно, остатки сил и собранности ушли вовсе, я стал совсем лежачим больным. Сквозь туман видел, что приезжал Олег, привез какую-то еду с поминального обеда, попробовав безуспешно кормить меня, попросил соседей по палате помянуть Шуру. Рассказал мне, что ее похоронили на кладбище в Казенке, недалеко от его дома. Если в известии о похоронах родного человека позволительно найти что-то радостное, то именно такой было сообщение о месте погребения.   
В больнице я без особых признаков излечения пробыл почти месяц. Домой меня выписали неспособным не только самостоятельно  передвигаться, но и контролировать позывы к большой и малой нужде.  Я мог только садиться и отчасти сам есть. Дома меня ждала сиделка и инвалидное кресло с горшком. Вокруг моего дивана был сделан забор из металлической трубы, получился маленький вольер или большая детская кроватка.  Когда пятьдесят пять лет назад я купил этот диван,  я никак не думал, что на нем пройдет вся моя жизнь. С короткими отлучками я спал на нем все эти годы, он удобный и привычный. На нем не только прошла моя жизнь, на нем  мне скоро предстоит умереть.   
  
Надо идти пописать. Туалет у меня теперь почему-то в комнате, в сиденье кресла на колесиках горшок, он и есть туалет. Раньше, я помню, я ходил в обычный, теперь почему-то должен ходить  на такой.  Передвигаюсь  я совсем медленно, поэтому встаю и иду при первых признаках желания. Вот и сейчас: пришлось прервать ужин. Придерживаясь за стены я постепенно добрался. Спускаю на колени трико и трусы и осторожно, медленно, сесть-встать мне гораздо сложнее, чем ходить, опускаюсь в кресло. Писаю. Но  струя течет на пол,  попадая и  на спущенные вниз трусы. Я вспоминаю гипсовую фигурку писающего мальчика, не раз виденную мною в парках,  хотя непонятно какое я имею к нему отношение. Тетка-сиделка ругается, но вытирает пол и достает сухую одежду, помогает мне переодеться. Я снова иду на кухню. Пальцы слушаются меня плохо и ложка с едой не всегда попадает в рот, когда еда пачкает одежду, тетка бурчит. Она вообще постоянно недовольна, часто срывается на крик. Улыбчива только когда приходят Олег, Люба или внуки.   
Люба общается со мной как воспитатель детского сада. «Давай ешь, мой хороший», - «мой хороший»  вполне искренне, она привозит вкусную свежую еду, она большой мастер готовить. Раньше я ел привозимую ею еду сам, на ее взгляд не всегда достаточно быстро, и тогда она ускоряла процесс,  начиная кормить меня с  ложки. Своей энергией она и подавляла меня – будучи способен есть сам я нисколько не протестовал, и заряжала – я динамично открывал рот, жевал, глотал - и пытался нахваливать ее яства. Теперь я есть не хочу и не могу, но первое она игнорирует, а второе преодолевает. Строго: надо есть, и опять ложка в рот. Я пытаюсь жевать, глотать – куда от такого начальника деваться, но организм не принимает, извергает съеденное назад.   
Олег приходя ко мне не пытался изобразить  живого общения, напротив старался говорить меньше. Он садился рядом, брал меня за руку, сжимал ее. Я чувствовал его участие, чувствовал, что ему тягостно видеть меня таким. Он, похоже, придумал себе, что не хочет доживать до моего сегодняшнего состояния. Это максимализм молодости,  он недооценивает   силу инстинкта жизни. Да, когда боль и беспросветность  заслоняет  все,  действительно хочется умереть. Но как только немного  отпустит даже видение собственных книг, вид собственной комнаты доставляет радость. Эти привычные,  само собой разумеющиеся вещи нужны и близки, и я не согласен  не существовать рядом с ними.  Даже  в сегодняшнем состоянии я могу радоваться. Хотя грущу и страдаю неизмеримо больше.     
Антон в общении и со мной немного теряется, не знает как себя вести, не может до конца поменяться ранее исполняемыми ролями.  Хотя и он, и Валя готовы нянчиться со мной – кормить с ложечки, читать вслух, катать на коляске. Антон к тому же не брезгует мыть меня и менять обделанную постель. Но лучше всех общается со мной Валя. Она умеет беседовать не получая нормальных ответов: говорит-рассказывает, иногда делает очень обдуманные паузы и у меня получается вставить односложную реплику. Моя внучка -  хороший добрый рассказчик, пусть я не все понимал, но чувствовал: своим детям она будет интересна.   
Теперь я не хочу, или не могу есть. От еды что-то болит, подступает тошнота. Мне совсем не хочется вставать и ходить. Олег принес мне  книгу, не сразу и не совсем я понял,  что это его книга, что он автор. Но читать я не  могу,  буквы сливаются. Телевизор смотреть тоже сложно: картинка не цельная, скачет, прерывается, также и  текст, он как бы не  на русском.  Обидно,  что ничего не понимаешь. Лучше не смотреть. Окружающая действительность перестает быть интересной и значимой.  Разве что когда приходят свои. Они ходят, Олег, вместо Юры все больше Люба, внучки Валя и Дина. Внуки меньше, особенно Антон, просто так сам не зайдет, только, скажем так, по делу: вымыть меня вместе с Олегом,  или принести что-то. Шуры нет,  но я часто забываю,  что она умерла, прихожу в ее комнату и застаю там сиделку. Она  добрая, жалеет меня, ухаживает, но все равно я часто сержусь на нее что она вместо Шуры, ругаюсь и пытаюсь сказать ей «Уходи».  Наверное,  она обижается, но терпит, она ведь на работе. Часто я вижу в ней искреннее сострадание и жалею,  что ругался на нее. Впрочем, «ругался» это слишком громко сказано. В это момент у меня рассерженная, может быть даже злая мимика и жестикуляция, и поток звуков, малодоступный пониманию посторонних.

Потеря речи, а вслед за ней и способности нормально воспринимать окружающее выпустили из моих, так скажем,  недр или глубин какую-то темную непонятную сущность, которая начинает управлять мною, и более того, подменять меня.  Иногда я замечаю, что делаю что-то не то, веду себя неадекватно, но чаще эта сущность подменяет и заменяет меня,  и я не понимаю недоумения близких.  В таком состоянии я делаю странные вещи.   
 Постоянно снимаю пододеяльник со старого лоскутного одеяла, укрываюсь им, одеяло сверху. Зачем – я и сам не знаю, но делаю так постоянно. Иногда я опасаюсь описать одеяло и ставлю под удар пододеяльник, но это не очень умно: если я так внимателен к этому делу,  то проще вовремя пописать  на горшок. А другой раз я подражаю тому молодому двадцатилетнему Валентину которого укрываться таким образом заставлял армейский порядок. Но зачем делать так сейчас спустя шестьдесят лет? Непонятно, но я упорно снимаю пододеяльник порой придумывая объяснения тому, а порой не затрудняя себя этим.   
Я не позволяю сиделке проветривать квартиру: почему-то я не выношу открытых на улицу окон. Заметив, что оно открыто, я ругаюсь и сам иду закрывать его. Чем они мешают (или пугают) меня не знаю, раньше я любил свежий воздух и даже легкий сквознячок, почему это изменилось мне не ясно.   
Ночью, в определенное время я снимаю памперс и одеваю трусы,   как будто переодеваюсь утром, после чего несколько часов не сплю. Но здесь мотивы понятны: бодрствовать в памперсе – это для взрослого человека все равно,  что ходить в трусах по улице.   
Я не хочу глотать лекарства. Взяв таблетки  в рот я закатываю их между десной и щекой, делая вид что запиваю,  пью  воду, и потом, оставшись один,  выбрасываю лекарства за диван.   
Я слабо контролирую позывы к большой нужде. Сиделка периодически высаживает меня на горшок, иногда раздраженно, иногда по-доброму ругается на меня: надо какать именно в горшок, не под себя. Сидя на горшке я стараюсь, часто получается, но часто я забываю об этой проблеме и обделываюсь позже. Понимать,  что произошло я начинаю лишь ощутив вонь или потрогав руками собственные испражнения. Иногда я даже не замечаю произошедшего, а иногда по-взрослому понимаю, что обосраться – это стыдно, но по-детски  прячусь  под одеялом и отказываюсь открываться. Лежу,  укрывшись с головой и отказываюсь мыться.   
  
Порой ко мне заглядывает смерть. Она выглядит именно так, как ее рисовали в старых книжках: худая костлявая старуха с длинным носом и выпяченным подбородком. На ней серый балахон, но капюшон не на голове, он сброшен на плечи, хорошо видны седые спутанные волосы. Приходит ко мне без косы, я вижу ее в правом углу, возле книжного шкафа. Она появляется бесшумно, молча смотрит на меня, наверное, оценивает, пора или еще рано. Увидеть ее и смотреть  очень неприятно, я начинаю ругаться и махать рукой: уходи. И она уходит с тем,  чтобы вернуться.  Уходить с ней очень не хочется.   
  
Приезжал брат Саня. Он очень расстроен из-за Шуры и моего состояния. Сидел рядом, что-то говорил, а больше плакал. Я в привычной манере «все нормально» старался успокаивать его,  но получалось одно беспомощное мычание. Так безрадостно, зная: в последний раз, пообщались.   
  
Окружающие меня люди здорово поглупели за последнее время. Часто пристают ко мне с вопросами, что да как, но стоит мне начать отвечать - перестают понимать меня. Объясняешь им,  объясняешь,  а они ничего понять не могут. Ну зачем спрашивали, раз такие бестолковые и понять не могут?  Вообще мои гости в своем большинстве достают меня. Они хорошие, они любят меня, я – их. Но мы уже ничего не можем дать друг другу, можем только расстраиваться. Кто-то из них пытается изображать наигранный оптимизм, ты Петрович, потерпи немного, скоро поправишься,  и все будет как всегда. На таких я смотрю с сожалением: ну чего придуриваетесь? Или меня считаете совсем дураком, хотя я дурак лишь на три четверти. Кто пытается обойти мое состояние рассказывая мне что-то такое что мне было раньше интересно. Все бы тут ничего, если бы они не задавали мне вопросов требующих большего,  чем да-нет ответа. Порой я вместо ответа молча смотрю на них как на дураков, а вправду, кто из нас дурак в такой ситуации? Порой отвечаю в доступной мне, но не им, для них в бессмысленной  форме – мычу, извергаю куски слов, жестикулирую. Тут все глупость попыток умного общения со мной становится очевидной, но они все же изображают понимание и продолжают беседу. Мне это быстро надоедает, я жестом показываю: а ну вас, что с вами говорить с бестолковыми. Третьи при встрече  больше  дружески вместе со мной молчат, или сообщают что-то короткими, легкими и не требующими ответа фразами. Это оптимально.    
Теперь я понял сиделку: она упивается своим состраданием к моим мучениям. Чем больше я страдаю,  тем больше она жалеет меня и ловит от этого кайф. А если мне лучше и я страдаю мало, она мне горя добавит: накричит, оставит  мокрым не переодевая, или не кормит, или спать не дает. И вновь радуется тому как трогательно у нее получается жалеть меня. Она как вампир кормится моей болью. Я у нее восьмой платный, после троих умерших на ее руках родственников. Больше нескольких месяцев у нее не живут. И еще я понял,   зачем она. Она для того,  чтобы я не долго маялся. Она доктор-смерть.  
   
Еще пару месяцев назад я радовался, что вновь научился ходить и  самостоятельно есть. Жизнь вновь просыпалась во мне. Потом все двинулось обратно. Лежачему стало совсем плохо. Думаете легко не контролируя себя периодически оказываться в говне, легко чувствовать себя беспомощным огурцом, легко ощущать полную слабость и бессилие, легко существовать с пустым мозгом когда все каналы загрузки его информацией бездействуют. А знали бы вы как противно,  когда тебя кормят с ложечки. Очень тяжело и плохо осознавать все это, понимая при том,  что путь только один – в смерть. Это  пугало меня.  Но сегодня все не так. Я уже не смогу встать, не смогу читать и смотреть телевизор, и тем более писать и общаться со своими. Потерянное не отыграть назад. Только вниз, вперед, к смерти. И я не хочу тянуть. Хочу пройти туда быстро. Это не слабость – я долго и достойно боролся, хотя знал: победы быть не может. Теперь буду делать обратное: прятать во рту и после выплевывать  таблетки, отказываться от еды, стараться не пить. Это показала мне Шура. Она – молодец.    
Неизвестность небытия уже не пугает меня -  я не могу об этом думать:  везде  тяжело, везде болит. Боль не пускала страх. Хуже этого беспросветного мучительного состояния ничего не было, хоть что, лишь бы это прекратилось. Помните, лучше бесконечный  ужас, чем ужас без конца. Это про мою последнюю неделю. Олег, Валя и Люба желали мне скорее отмучиться. Но врачи как клещами держали мою жизнь, не давая ей уйти из тела. Представляете, вы висите над неизвестностью, смерть тянет вас вниз, а кто-то вцепившись клещами в сердце, голову,  печень, и что там еще у меня болит, держит. Знает, что не удержит, но все равно рвет ваше тело.   
Мне хотелось бы сказать врачам и тем,  кто с ними: отвяжитесь и дайте мне умереть. Беспокоясь,  как бы вас не обвинили в халатности или плохо не подумали,  вы продлеваете мои мучения. Я вижу, все вы кто из жалости, кто из брезгливости, хотите что бы я поскорее избавил себя и вас от себя. Но при том ханжески (!) стараетесь продлить мои дни.   
Сегодня  мне безразлично, сколько я проживу. Безразличие, безысходность и  апатия. Эти слова исчерпывающе отражают мое состояние. Есть только две вещи,  которые меня волнуют.  Это судьба близких, я помню о них, у меня есть силы желать им благополучия (теперь - только желать!), и скорейшее прекращение моих мучений, пусть даже через смерть. Она вновь приходила, но не взяла, сказала:  помайся еще. Она мерзкая, хотел бы уйти,  умереть бы без ее личного участия.   
Придавило так,  что кругом только белый туман. Тяжело дышать – вдыхаю очень поверхностно, физически ощущаю,  как трудно работать сердцу, как оно через силу толкает загустевшую кровь. Очень трудно глотать даже воду, а в желудке пожар. Двигаться, садиться не могу, сил хватает лишь шевелить левой рукой. Мерзнут ноги.   
Ощущение времени теряется, холода нарастает.   
Сознание прерывисто и волнообразно, оно перестает локализоваться в голове, как-бы растворяется во всеохватывающей боли. Расширилось, вбирая в себя кровь сердце. У меня получилось судорожно глубоко втянуть в себя воздух. На миг – просветление, сейчас утро, в комнате никого,  только смерть. Она пришла. Выдыхаю воздух, грудь опускается, сердце не может сократиться и толкнуть кровь. В нем открываются какие-то клапаны и кровь выходит как из проколотого пакета. Кровь вытекла, сердце опало. Пространство боли быстро сужается, это потому что я перестаю чувствовать сначала ступни, потом голени, правую руку. Одновременно тело наполняется холодом. Левая рука еще подконтрольна  - я могу чуть шевельнуть  пальцами, мои глаза открыты, но при том неподвижны, я могу смотреть только в правый угол, туда,  где вижу смерть. Она постепенно вытаскивает меня из тела. Но по мере того, как я перестаю контролировать и выхожу из него  я не обретаю нового пристанища, перемещаясь в пустоту, где нет ничего, в том числе и меня.   
У вас было так, или по-другому?